Ниспосланная на землю капсула с Роговской диатрибой оказалась настолько мощно заряжена сарказмом, что превратилась в настоящую бомбу. Сардонический фугас со всего маху ударился о скрипучие доски пола общежития, прошил межэтажные перекрытия, проломил и сам фундамент здания, прошел через глинистый пласт почвы и вкатился, наконец, в какое-то подземное озеро, где соглашательской кистеперой рыбой плавал Чернышев.

От неожиданного вторжения испуганное ископаемое рванулось в сторону, попыталось скрыться в толстом придонном иле, но, оглядевшись и удостоверившись, что немедленного взрыва не последует, забулькало примиряюще: «Да чего вы завелись, мужики? Общего у нас гораздо больше, чем различий. Давайте спокойней. Сядем с пивком, поговорим ладком. Так-то оно лучше будет. Правда же: давайте возьмем пивка, тараночки, вот все и обсудим. Без нервов, без надрыва. Давайте, давайте! Что такое? Пива нет?.. Ну, конечно, извечное наше «Пива нет!» — Чернышев принялся тоскливо метаться в мутноватой воде от берега к берегу.— Сколько себя помню, столько помню и это: «Пива нет!» Отец мой пытался уразуметь смысл бумажки с таким объявлением на закрытом наглухо павильоне «Пиво — воды»; старший брат изучал эти слова, начертанными фломастером на картонке; для меня их старательно вывели выжигательным аппаратом на красивой фанерной табличке; а сын мой, наверное, уже в букваре прочтет: «Пи-ва не-ет». Надпись эта мистическим образом проступает у нас повсюду, словно «мене, текел, фарес». Вот почему же у нас никогда пива нет? Ну, почему? Я правда не понимаю. Ведь «Пива нет!» у нас не реже пишут, чем «Вперед, к победе коммунизма!» Получается, воюют две надписи: «Вперед, к победе коммунизма!» и «Пива нет!» А в войне вывесок всегда побеждает та, что короче, доходчивее, насущнее. Сперва дайте людям пива, а тогда уж стройте социализмы, коммунизмы, что хотите стройте, но только сначала дайте людям пива!»

В ответ мужики скосоротились как по команде: ну, пошел рубить правду-матку! Однако усмехнулся каждый со своим отношением — кто сочувственно, кто иронич-

но, а кто возмущенно. Рогов, например, не мог взять в толк: «Причем тут пиво? Что, нельзя подождать с пивом до окончательной победы революции?! О каком пиве вообще можно говорить, когда, в самом деле, идет война, только это война не вывесок, как полагает наш лабазник, это война идей». Иммануил закатил глазки в притворном смирении: «Как ни прискорбно, идея революционного служения изжила себя. Победила идея приватности. Аминь!» Саша в ответ вспылил (впрочем, больше из духа противоречия, чтобы только не соглашаться с вызывавшим гадливость тартюфом): «Но послушайте! Идея нерушимости прав индивидуума не отменяет идею социальной справедливости! Уверяю вас, что за частым частоколом частной жизни рано или поздно захочется нам увидеть величественные стены замка справедливости!» Шамсутдинов поддержал Рогова и Сашу: «Я тоже считаю, что социалистическая идея окончательно не погибла! Она отошла на заранее подготовленные позиции». Видя, что против них действует целая коалиция, Чернышев и Иммануил наперебой заклекотали обеспокоенными воронами, стараясь заклясть контрагентов.

Водяной воронкой журчали голоса спорщиков, затягивали медлительным водоворотом. Очень хотелось узнать, что там — с обратной стороны их разговоров. Рогов тихонько и неглубоко нырнул в омут смысла, но обнаружил лишь пустоту, зыбкую, зябкую пустоту. Разочарованный пловец попытался подняться на поверхность. Бесполезно: вязкая жижа уже не отпускала. Конвульсивные рывки наверх, к воздуху, нисколько не приближали спасения, лишь отнимали силы. Асфиксия мутила разум, лишала воли, обездвиживала тело. Непреодолимый смертный ужас охватил слабевшего с каждой секундой утопающего...

Очнулся Рогов оттого, что почувствовал чью-то сильную руку на своем плече.

— Ты чего, земляк? Чего ты стонешь-то? Э-э! Да ты кемаришь! — Чернышев, тряся Рогова, чуть присел и внимательно заглянул ему в лицо.— Сон страшный увидел? А я-то думаю: чего он все молчит!

Рогов встрепенулся и, полуслепой со сна, испуганно оглядываясь, часто-часто заморгал. Взоры всех собравшихся были обращены к нему, и первое, что почувствовал спасшийся из пучины своего сновидения бедолага,— теплое, искреннее участие окруживших его людей. Все разглядывали Рогова с веселым недоумением, но без издевки, без пренебрежения. Особенно внимательно, с какой-то даже тревогой смотрела ему в глаза Маша; Рогов поразился тому, какой глубокий, всепонимающий и всепрощающий у нее взгляд. Да и лица ее женихов, ее отца показались настолько доброжелательными, что Рогов невольно улыбнулся им. В ответ на эту кривую глуповатую улыбку не до конца проснувшегося человека сгрудившиеся вокруг Рогова мужчины недружно и негромко хохотнули.

Чернышев предположил:

— Да ты, парнишка, никак пьяненький! А что? Мысль неплохая,— Чернышев вытянул из кармана кошелек.— Что, женишки непутевые, скинемся? Художник! Сгоняешь за выпивкой? Не в обиду: ты же помоложе всех получаешься. Сгоняешь?

Пожалуй, так и следовало бы им завершить этот странный день. Пожалуй, Чернышев, привыкший незамедлительно (хотя и грубовато) переводить решение любых вопросов в практическую плоскость, угадал единственно правильный выход из нелепой, угнетающей ситуации, в которой по легкомыслию оказались незадачливые искатели руки и сердца дочери Виктора Алексеевича.

Именно Чернышев, кутила Чернышев, тот самый Чернышев, который числился завсегдатаем нескольких городских ресторанов, лучше других был осведомлен, что человек с человеком сходится не по принципу лотереи, а по определенной логике, покуда не разъясненной широкой общественности в научных терминах, но четко прослеживаемой в повседневной практике. Чернышев первым подтвердил бы: есть своя закономерность в том, кто, с кем и зачем сталкивается на жизненном пути. Есть своя закономерность и в том, что любая компания, сколь бы случайной и разношер-

стной она ни казалась, неизбежно в более или менее полном составе окажется за одним столом. И неизбежно в центре того стола возникает бутылка водки.

Самые досадные ошибки и самые жгучие обиды забываются за таким столом. Смущение после самого сумбурного разговора, после самого нелепого происшествия без остатка растворяется в пол-литре. Самые сложные темы становятся понятны, самые бредовые прожекты представляются реалистичными, а самые извращенные порывы кажутся извинимыми после появления на общем столе бутылки водки.

Вот стоит она на потертом шпоне, на корявом горбыле, на чуть потрескавшейся полировке, на праздничной плюшевой скатерти, на мятой тряпице, а то и на газетке; плотно стоит, основательно, этаким центром застольной вселенной... В резком световом потоке свисающей на длинном проводе лампочки-сироты, в приглушенном старомодным абажуром сиянии домашнего уюта, в лучах парадной хрустальной люстры бутылка искрится небывалым бриллиантом, отбрасывая вокруг колеблющиеся блики. Пьянящая самим видом своим чуть маслянистая влага за толстым стеклом переливается ртутью, жидким серебром, а там, где широкими полосками клея прихвачена этикетка, расплываются радужные пятна.

В обманчивых всполохах водки мерещится какая-то загадка, к постижению коей приближается каждый пьющий с каждым наполненным стаканом на протяжении веков... Но глубока утробно булькающая тайна. Не стаканами ее черпать. И вот уже падают под стол отгадчики, вот уже катаются по полу пустые бутылки, словно стреляные гильзы. По мере осушения мистический сосуд превращается из алмаза в обычную стеклопосуду с заранее известной залоговой стоимостью, в тару, с которой теперь столько возни: собирать, споласкивать, тащить в приемный пункт (еще работает ли?!), стоять в очереди, обменивать на копейки...

Нескончаема битва между водкой и людьми. У коварной водки много союзников: бормотуха, колыхающая подобные водорослям мохнатые подонки, мутная сивуха-самогонка, лосьоны-одеколоны — презренные парфюмерные перебежчики. Но водке все мало: она открывает границы бесцеремонным интервентам, призывает на подмогу бренди из Болгарии, псевдоитальянские псевдоликеры, заграничный «питьевой» спирт... Агенты водки прячутся в тюбиках с клеем «БФ», маскируются под лекарства, разлитые в пузатые пузырьки (вот, тоже, двурушники: всем своим аптекарским видом стараются показать, что не имеют никакого отношения к горячительному, а на самом-то деле — о-го-го!). А тормозная жидкость? А стеклоочиститель? А бензин, наконец?.. Все это, конечно, уже не искрится, не манит невысказанной тайной, но валит людей не хуже водки.

А люди... Что люди?.. Люди слабы и наивны, им все кажется, будто победа будет за ними. Очертя голову они снова и снова наполняют свои стаканы, самоотверженно опрокидывают их содержимое внутрь себя, поначалу стараются держаться молодцами, но постепенно лишаются сил и рассудка, снопами валятся наземь. Какое-то время лежат недвижно, словно трупы, словно увечные или контуженные.

Но баталия-то ненастоящая, вроде мальчишечьей дворовой забавы, которая завершается не иначе как героическим кувырканием всех участников на вытоптанном пустыре. Сошедшиеся в финальной схватке сопливые воины один за другим покиношному оседают наземь и замирают, лежа вповалку. Их тельца непроизвольно подрагивают от перенапряжения; их сердечки бешено колотятся, едва справляясь с пульсацией разгоряченной крови, бьются о ребра с такой силой, что, кажется, вот-вот разнесут грудную клетку вдребезги. Однако лежать надо смирненько, учащенное дыхание нужно изо всех сил (до спазмов, до удушья!) сдерживать, плутовски подрагивающие веки необходимо смежить, хотя бы неплотно. Конечно, если уж совсем одолело любопытство, то неписаные правила разрешают разок-другой оглядеться, только не размыкая слезящуюся сеточку полуприкрытых ресниц и со стоном, как бы в предсмертном бреду. И хитрющие улыбки, нечаянно проступающие на довольных

чумазых лицах, следует прятать, чтобы кто-нибудь, кто может наблюдать за происходящим сверху — не то из открытого окошка в соседней рабочей общаге, не то из бездонной голубизны летнего неба — оценил бы достоверность славной игры...

Над пустырем, оглохшим от исступленных выкриков и несмолкаемой трескотни игрушечного оружия, повисает тишина... Но вот, отражаясь эхом от стен окружающих зданий, по-петушиному вспорхнул чей-то задорный фальцетик: «Хорэ, пацаны!» — и войнушка окончена. Застывшие в картинных позах игроки начинают шевелиться, переговариваются, встают. Удовлетворенная добросовестно исполненной ролью детвора отряхивает запылившиеся шаровары, трико, облепленные травяной трухой, и разбегается по домам, чтобы в другой раз снова сойтись в потешной схватке... Взрослые же ведут невсамделишную войну с водкой, причем делают это с таким же ребячьим азартом.

А уж мужчинам, собравшимся в тот день в комнате на четвертом этаже рабочего общежития, было просто необходимо дать водке решительное сражение, по-настоящему эпическое, такое, о котором со смаком рассказывали бы через годы, такое, последствия которого полностью заслонили бы собой цель появления здесь непрошеных гостей. Конечно, и Чернышев, и Саша, и Рогов, и Иммануил, и даже Шамсутдинов, хоть он не пьет, предпочли бы накиряться вдрязг, только бы не объяснять никому (а первым делом — себе), отчего вдруг каждого из них переполнило противоестественное, но непреодолимое желание взять в жены незнакомку. Проще было бы уйти в запой, пропасть в хмельном чаду, кануть в череде безобразных дебошей, чем внятно изложить, зачем они с таким упорством, несмотря на необъяснимое томление и смутные страхи, стремятся возложить на себя отцовские обязанности по отношению к чужому ребенку, имеющему родиться в ближайшем будущем.

Пока же ясно одно: нутро нестерпимо саднит, а потому надо срочно прижечь его спиртом, продезинфицировать как следует. И где только угораздило так сильно, до кровянки, травмироваться? Наверное, в тамбуре на входе в общежитие. Там еще крюк болтался, длиннющий железный крючище, которым запирают двери на ночь, крюк настолько ужасающего вида, что сгодился бы пыточных дел мастерам. Об этот гак, видно, душа ненароком и тесанулась... А кому-то, возможно, разворотила грудь бензопила марки «Баба Дуся». Та, если заведется, не только черепную коробку вскроет своим визгом, но и всего тебя может распластать надвое, от затылка до копчика. После подобного повреждения душе уж точно не удержаться в теле, и вот она, тяжеленькая такая, сочно чмокнув, шмякнулась на пыльный кафель вестибюля.

Волоча за собой душеньку, оставлявшую влажный быстро испаряющийся след, поднимались женихи по заплеванной лестнице, тащились по немытому коридору и как будто даже измызгали психею на коммунальной кухне и в общем сортире. Этакими-то, по дороге собравшими всю грязь мира, явились они к Марии, предстали друг перед другом и вынуждены были наизнанку выворачиваться да каждому под нос совать самое заветное: «На, пощупай! Вот оно, естество мое. Вот я с чем живу, вот я с чем сюда пришел». Ох, как стыдно им было сейчас за свою душонку, неприбранной выставленную на всеобщее обозрение!

Каково, скажем, Рогову раскрывать сердце коммуниста в присутствии классового врага — Чернышева? Чего стоило склонному к исихазму Шамсутдинову пуститься в откровения, да еще с людьми, стоящими на социальной лестнице ступенькой ниже? Легко ли было Саше выдать на позорище грезы беспросветной своей любви? Чем грозило Иммануилу раскрытие замысла о сектантском поселении?..

Те заветные мечтания, которые лелеял в сосредоточенной тишине мнительный отшельник рассудок, теперь впервые были высказаны вслух — без обиняков и для чужих ушей. А будучи высказанными, самые что ни на есть задушевные задумки предстали настолько примитивными, нелепыми, идиотскими, аж тошно стало. Как это часто происходит, высокая путеводная идея, зародившаяся из мучительной суеты

жизни и выношенная вопреки всем ударам судьбы, в тот самый момент, когда она была, наконец, оглашена для града и мира, предстала плодом размышлений неразвитого инфантильного сознания, возвышенно-сентиментальной утопией, позором своего создателя.

Но и отмолчаться оказалось невозможно! Даже ясно понимая убожество или преступность своих намерений, присутствующие обязаны были без утайки объявить их перед лицом изысканнейшего собрания неудачников, пьяниц и психов. Почему так получилось? Зачем это делалось? Они сами не вполне отдавали себе отчет, однако странным образом завязавшаяся беседа с первых слов пошла так, что каждый выкладывал всю подноготную, в ответ ожидая от других подобной же откровенности. Группа неврастеников словно под гипнозом исполняла отвратительный духовный стриптиз.

Под взорами бесцеремонных созерцателей оголенная душа зябко подрагивала, еле слышно попискивала, как, по рассказам бывалых людей, пищат поедаемые устрицы. И любой-то мог ее, голубушку, грубо выковырнуть из раковины, сжать лапищей, поднести к самому лицу и долго рассматривать с видом пресыщенного ресторанного критика. Затем — две-три пометки в блокнотике, и придирчивый осмотр продолжается: предмет изучения отстраняется на расстояние вытянутой руки и то разглядывается на просвет, то отводится в тень... Ну куда вы тянитесь грязными руками?! Чего хватаете?! Ведь она и так еле жива! Где теперь отмыть душу от ужасных пятен? Как лечить ее от синяков? Сколько времени придется прятать ее в полуподвале одиночества, прежде чем она сможет вновь предстать перед миром? Да и оправится ли она вообще после содеянного насилия? А вдруг станет отныне ныть-побаливать к перемене погоды, подобно застарелым ранам и переломам?..

Насколько же глупо все получилось! Просто зло берет!.. Да, прав Чернышев: необходимо хорошенько дерябнуть, чтобы алкогольной анестезией купировать душевные конвульсии... Или хотя бы по стопке опрокинуть, а там разыграть комедию: притвориться окосевшими до невменяемости, покуролесить чуток, да и разойтись по одному, без объяснений, без прощаний, без новых встреч. Тогда появляется шанс остаться в памяти окружающих не неприлично разоткровенничавшимися прожектерами, но слегка подгулявшими безобидными чудаками.

И вот незадачливые женихи готовы кривляться, словно коверные, лишь бы дезавуировать пафос только что отзвучавших пылких речей. Сейчас каждый из них старался опередить других и лично осквернить руины воздушного замка своей мечты, той крепости, того дворца, того узилища, которое возводилось долгой и напряженной работой трудолюбивого интеллекта, а разрушилось с ошеломляющей легкостью от первого же стороннего (кстати, не слишком критического) суждения. Каждый торопился как можно скорее и злее насмеяться над своими развенчанными фантазиями, поскольку от косого взгляда чужака (не говоря уже о взгляде чуть насмешливом) душа, окончательно заледеневшая на сквозняке бессмысленных в своей прямоте разговоров, непременно займется гангреной и начнет гнить, разлагая человека изнутри; если же поторопиться и собственной рукой ввести себе вакцину издевки, есть надежда спастись, избежать полного распада личности. Ну а решиться на болезненную прививку самоиронии гораздо легче подшофе.

Да и Виктор Алексеевич не отказался бы хлобыстнуть водочки. Он пришел к твердому убеждению, что без бутылки никак не разобраться в диковинных порядках, заведенных горожанами. В ту самую минуту, когда автобус со звездообразной отметиной на стекле, скрежеща, вкатился на улицы областной столицы, крестьянин нутром почуял, что попался в западню, из которой без повреждения ума не выбраться. И весь следующий день знатный бригадир напоминал себе муху, залипшую в меду: тягучая сладость непонятного, враждебного уклада засасывала с садистской медлительностью. Некоторое время Виктор Алексеевич пытался трепыхаться, жужжать по-

своему, по-деревенски, но только глубже погружался в приторную трясину; стало ясно, что вскоре не окажется ни сил, ни воли, чтобы шевельнуть онемелой от перенапряжения лапкой или отяжелевшим крылышком. Товарищу Володину, славившемуся в своем колхозе непреклонным нравом и рассудительностью, предстояло навсегда застыть в медовом болоте всяческих несуразностей, раздражая своим неэстетичным видом брезгливых городских лакомок. С приходом же подозрительных кандидатов в зятья абсурд происходящего достиг апогея, а угроза полной потери рассудка обрела черты суровой реальности.

Поэтому (напоследок, пока в здравом уме) не грех было устроить хорошую попойку. Смейся, не смейся, а бутылка, если и не помогает реально разобраться в хитросплетениях развилок горестного дольнего пути, то, по крайней мере, избавляет от растерянности, тревоги, подавленности, коие подстерегают всякого смертного на житейских перекрестках; пусть ненадолго, но избавляет. Когда же на горьком опыте убедишься, что твоя стезя — вся, вплоть до незначительнейшего, анекдотического поворотца — заранее предначертана трансцендентным фатумом, не внемлющим ни горячим мольбам, ни прекраснодушным пожеланиям, ни логическим доводам, то вновь устрой хорошую попойку, созови самых экспансивных собутыльников, ни на миг не сомневающихся в том, что управляют строптивой судьбой по личному произволу, и попробуй зарядиться их бесшабашным энтузиазмом. А коль скоро надсадный разгул не разубедит в том, что роковая предопределенность участи стала твоим проклятием, тем более стоит устроить хорошую попойку!

Возможно, так все и вышло бы. Уже зависла в комнате напряженная пауза, подобная томлению природы перед приближающейся грозой, тревожное затишье, однозначно свидетельствующее: бури не миновать. Уже в глазах Чернышева разгорался жгучий красноватый огонек, тот самый, который невзгоды да годы раздувают во всепожирающее пламя алкоголизма; уже Иммануил, пытаясь сдержать змеившуюся на губах мефистофельскую улыбку, нервически потирал ладони, спрятанные в складках балахона; уже Шамсутдинов деловито оглядывал помещение на предмет наличия чистых стаканов; уже заерзал на своем месте Рогов, соображая, какой взнос в складчину он может себе позволить, чтобы избежать перерасходования столь необходимых для продолжения революции и столь скудных денежных средств; уже Саша приподнимался со стула, чтобы бежать за выпивкой. Возможно, так все и вышло бы.

Но их остановила Мария. Не позволила закончить день великих откровений пошлой пьянкой. Заговорила в первый раз за время мучительной для всех собравшихся беседы; неожиданно подала голос, повергнув в оторопь мужчин, почему-то считавших ее пассивной слушательницей, заранее согласной на все; откликнулась на отзвучавшие речи своеобычным женским эхом.

Парадоксальным образом муторный сюрреалистический фарс, разыгравшийся перед ней сегодня, вызвал у Марии сугубо интимные переживания, острый приступ рефлексии над тем, что быть женщиной — значит быть желанной, необходимой для многих. Девчонке на пороге взросления столь щедрый подарок судьбы мог бы вскружить голову, но Марии Викторовне опыт подсказывал: на самом-то деле женская манкость является, скорее, половой повинностью, налогом на естество. Привилегии женщине дарованы иные, от века и вовек никому более недоступные. Вот, скажем, право выбора. В жизни все устроено настолько хитро, что наружно представляется, будто выбирает не женщина, будто выбирают ее; но глаза говорили Маше обратное: она видела перед собой пятерых мужчин, пришедших сюда не только без каких-либо ухищрений с ее стороны, но даже сверх ожидания, и теперь покорно ждавших ее решения; и пусть ждут, и пусть изводятся в сомнениях, пока господыня определяет участь холопов... Впрочем, величайшая женская прерогатива, конечно, не в выбраковке представителей противоположного пола. Женщине дана уникальная способность увеличиваться и продолжаться, длиться в пространстве и времени. Она

постоянно дробится в том, что производит на свет, и постоянно соединяет дробность в целое своей любовью. Сия сокровенная тайна органически недоступна мужскому пониманию. Лишь складывая вместе свои куцые представления о действительности, лишь сливая воедино свои неразвитые эмоции, мужчины могли бы приблизиться к тому, чтобы разгадать женщину. Наверное, для такой попытки и собралась здесь нынче пятерка случайных гостей.

А Мария с их приходом впервые осознанно почла себя Невестой. Неожиданно высветился потаенный смысл этого древнего слова, этимология его раскрылась настолько наглядно, что мимолетная радость лингвистического открытия сменилась оторопью, а затем и неотступным суеверным страхом, поскольку языковое изыскание, чисто умозрительное по первому впечатлению, на деле оказалось определяющим для судьбы исследовательницы. Действительно, собираясь замуж, мало кто станет размышлять о том, что «невеста» — значит не ведающая своей доли; приговоренная к торжественному и красочному погружению под рыдания родни и заунывные песни в омут безвестия; обреченная навсегда кануть в неизвестности во имя торжества непостижимого для людей хода вещей. «Невеста» — значит утратившая связь со своими, не имеющая известий от родных и не подающая весточки о себе. «Невеста» — значит неведомая, входящая в чужой дом; девственница, не изведанная еще ни одним мужчиной; девица, которая должна бы привнести в новую семью благодать телесной и духовной чистоты, но также способная замарать всех грязью разврата; дева, во власти которой либо изменить к лучшему, либо дотла разрушить привычный родовой уклад; девушка, соблазняющая на познание, но одновременно и пугающая инородностью стоящих за ней миров.

Мария чувствовала себя целым созвездием смыслов, зодиакальной Девой, озаряющей земную обыденность. От непередаваемого космического ощущения кружилась голова, замирало сердце, а руки и ноги холодели и плохо слушались. Но, скрывая волнение, она, как Неизвестная с картины, взирала на сидящих перед ней посторонних мужчин, чувствуя необъяснимую власть над ними. И даже отцу, и даже себе самой в этот час она представлялась Незнакомкой, ибо ей высшими силами поручено явить миру нечто небывалое, нечто сказочное, то, что вот-вот начнется, непременно начнется, с нее начнется! Каким-то чудом она, вчерашняя деревенская простушка, раньше остальных (хотя и наполовину пока) допущена в грядущее! Оно лишь только близится, каким оно окажется — Марии тоже не дано знать досконально, однако представить себе его черты она уже в состоянии, ибо будущее произрастет из нее, станет частью ее плоти и духа.

Но не только животворное воодушевление испытывала сейчас Мария. Упиваясь своей исключительностью, она одновременно полной чашей черпала и горечь неприкаянности. Именно болезненное сознание фатального одиночества избранницы дало женщине право апеллировать к присмиревшим посетителям, и монолог ее был монологом гостьи из незнаемого мира, медиума, наделенного способностью перекинуть мосток из нынешнего вечера в завтрашнее утро. Закуковала Машка вековечной отшельницей кукушкой, кого обнадеживая, кого повергая в трепет, и если первый звук клича ее доносился из дня минувшего, то ответный всхлип плача ее слышался отголоском дня предстоящего.

Она говорила и говорила, ни к кому конкретно не обращаясь, но непостижимым образом каждый, склоняя слух к зегзице, понимал, что вразумляющее причитание адресовано персонально ему, каждый, внимая утомительной перекличке двух минорных нот посвиста пророчицы, открывал что-то для себя и в себе. То, во что в тот вечер посвятила Мария засидевшихся визитеров, словно бы сопровождало их на протяжении всей последующей жизни; то, что услышали они тогда, позже — отрывками, искаженным эхом — многократно встречалось им и в телевизионных дебатах, и в проповедях с амвона, и в легковесных газетных статейках, и в заумных книгах, и в

правительственных указах, и в митинговых речах, и даже, вроде бы, однажды случайно мелькнуло перед чьими-то глазами в заголовке брошюрки, на обложке которой было означено: «Володина М.В. Автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата философских наук...»

Впрочем, уже на следующий день никто из присутствовавших не смог бы достоверно и полно воспроизвести обращенный к ним монолог. Приговоренные отныне к пожизненным каторжным работам в рудниках мировой гармонии, они пытались припомнить прорицание общежитской Кассандры, но тщетно: в памяти всплывали лишь фрагменты ее почти надрывной декламации под музыку высших сфер, разрозненные обрывки, касавшиеся личных обстоятельств каждого. Вот если бы удалось сопоставить впечатления всех искателей недостижимой целостности бытия, тогда обозначились бы общие очертания клубящегося оттенками смыслов облака фраз, скользнувшего однажды из распахнутого окна казенной комнаты в сгущавшиеся августовские сумерки и растворившегося в задумчивой прохладе. Если бы удалось...

Что же за отповедь дала царевна, томящаяся в коммунальной темнице, горе-спасителям? Что поведала залетным витязям, не способным ни разбудить горячим поцелуем, ни ободрить добрым словом, ни вдохновить самоотверженным подвигом? Совсем не то, что они рассчитывали услышать, совсем не то, что, как представлялось им, должно бы волновать незамужнюю женщину на сносях.

А она вдруг пустилась в вспоминания о переезде в город, о первых своих днях вдали от родного дома... Насколько же едким показался бензиновый чад после деревенского приволья! Марии чудилось, что какой-то озлобленный до невменяемости экспериментатор ставит над ней чудовищный опыт: с палаческой медлительностью впрыскивает в вены дозы ядовитого кумара, который засоряет легкие, заражает кровь, зачумляет мозг и душу. Однако понемногу девчонка (куда тут денешься!) научилась дышать парами отработанного топлива и вскоре уже не могла обойтись без глотка отравленного воздуха, как и все городские людемашины, подпитывающиеся выхлопными газами друг друга...

Наверное, с полгода прошло, прежде чем Мария заметила: а ведь город не только отравил, но еще и оплодотворил ее. Это открытие оказалось настолько ошеломляющим, что потрясенное до самых основ сознание отказывалось отвечать на насущнейшие вопросы: произошедшее — благо или зло? наказание или награда? спорадический казус или фатальная закономерность? Да и статочное ли дело, чтобы сквозь пелену смертоносного дурмана вдруг робко дохнула зарождающаяся жизнь?.. Неискушенная деревенская головушка пошла кругом.

Если верить рассказчице, безуспешные попытки перекинуть шаткий мосток логики над пучиной житейского сумбура доводили ее до полного отчаяния. Бедняжка уже окончательно впала в какое-то полуобморочное состояние, когда нежданно пришло избавление — помимо ее воли и без всякой связи с попытками разобраться в удручающем абсурде сущего. Спасение было явлено, словно ниспосланная свыше милость: смятение, клокотавшее в девичьем сердечке, вдруг сбежало с легкостью вскипевшего молока, а на донышке оплавленной души внезапно обнаружилось смирение. Ранее раздражавшее своей абстрактностью понятие «ход вещей» обрело магическую власть над Марией, она отдалась этому непостижимому ходу вещей, приняла его как часть своей личной судьбы и стала жить дальше, просто жить, без опостылевшего поиска объяснений, без ежедневных доказательств головоломных теорем, но, правда, и без спасительной защиты аксиом. Маша просто смирилась. Смирилась с тем, что несет бремя. Бремя урбанизации. Почему именно она, Мария Володина? почему она одна за всех? — разбираться бесполезно и бессмысленно. Важнее внутренне сосредоточиться, настроиться на то, что произойдет, когда она разрешится от бремени... Кто появится тогда на свет? Как это будет? Страшно! Интересно...

Обращаясь к своим эксцентричным гостям, Мария пыталась предостеречь каж-

дого по отдельности и всех вместе: что-то непременно должно перемениться, что-то вскоре стронется с места — навсегда и невозвратимо,— ибо зародилась и вот-вот проклюнется новая жизнь. Новая жизнь... Она не нуждается ни в чьих визах, не согласуется ни с чьими сроками; она не ждет подходящего случая; она вершится безоглядно и самовольно. Всякой твари остается лишь подстраиваться под мерную поступь наступающего будущего, дабы под его пятой не оказаться растертой в неосязаемую дорожную пыль, не рассеяться прахом, вздымаемым чудовищными каменными стопами.

Приходится постоянно примеряться к тяжким шагам неведомого — эта простая мысль, доступная пониманию существа, обитающего на Земле хотя бы второй день, почему-то никак не укладывается в голове человека разумного, обживающего планету десятки тысяч лет. Попробуйте сказать кому-нибудь: мол, всем нам надо жить по-новому. Вероятнее всего, вам с самодовольным ржанием ответят: «Все! С понедельника начинаем новую жизнь. Бросаем пить и курить, начинаем делать зарядку». В лучшем случае вас поймут с общеэкономической точки зрения, заведут речь об интенсификации производства, хозрасчете, щекинском методе и прочей муре. Более развитые индивиды переведут разговор в общественно-политическую плоскость, заявив, что безоговорочно поддерживают проведение перестроечных преобразований.

А вот Виктор Алексеевич... Тот, услыхав слова о новой жизни, и вовсе воспринял их исключительно в прикладном плане. «Во! Это же колхоз наш так называется!» — только и смог помыслить крестьянин, и перед глазами его, словно въяве, предстал межевой знак на обочине сельской дороги — сваренная эмтээсовскими умельцами жестяная конструкция, долженствующая представлять исполинский колос. Надо полагать, подобные колосья являются порождением снов волостных счетоводов и агрономов: созрей такой урожай на наших скромных почвах — оказались бы с избытком перекрыты все планы сдачи зерна государству... В реальности же сказочные злаки не колосятся; зато существуют две вполне прозаические, зато абсолютно настоящие вещи: карточка партийного учета, куда уже внесен выговор за срыв поставок сельхозпродукции, да ток, на котором воробьев больше, чем жита. Так что остается с грустью рассматривать неуклюжую композицию из металла — памятник невыполненной Продовольственной программе, покрытую пятнами ржавчины и облезающей желтой краски стелу, на которой синими буквами с потеками начертано: «Новая жизнь».

Володин сейчас так натурально все это увидел, что в комнате его больше не было — он уже спускался с невысокой насыпи к лесополосе, чтобы поискать грибов. Уже очи его заливала бездонная синь осенеющего неба, слепил светозарный августовский полдень, а ноздри дразнил воздушно-мясистый, с ломкой корочкой запах свежевыпеченного хлеба, разлившийся по округе из пекарни соседней Малевки. В ушах стояло завывание ветра между жестяных остинок придорожного указателя да громоподобное громыхание плохо приваренных листов железа, за которым слов дочери уже не расслышать.

А речь Марии между тем становилась все более взволнованной, временами срывалась на нервическую патетику вконец растерявшегося оратора. Да и как сохранить самообладание перед лицом изломов каверзной судьбы? Живет себе обычный, ничем не примечательный человек, допустим, деревенская девушка, безмятежно резвящаяся на лоне родной природы. Она, эта девушка, для космоса не значительнее какого-нибудь электрона, надежно вмонтированного в оболочку своего атома; мирно крутится девчушка по собственной микроскопической орбитке, и во всей вселенной царят покой да гармония. Но вот девушка всего-навсего переселяется в город, переезжает на ничтожнейшее по галактическим меркам расстояние, перемещается по планете, может, на тысячную долю градуса, и сколько же происходит странного, мисти-

ческого, пугающего... Та же самая пылинка, что была неразличима даже под микроскопом, та же наимельчайшая песчинка мироздания стронулась с места под едва уловимым дуновением ветра перемен — а в результате трепещут горы от чудовищных обвалов, почва покрывается тенетами разломов, твердь земная содрогается от тектонических сдвигов... Что за сила делает столь малое столь грозным? И как нам жить в мире, самые основы которого подвержены постоянным потрясениям? И возможно ли сохранить себя там, где нет ничего прочного, устойчивого, где ни в чем не прослеживается очевидных соответствий, где причина и следствие могут оказаться разделены веками, разнесены по разным континентам?

В этом зыбком мире немыслимо точно определить и зафиксировать, в какой момент, каким образом ветхая обыденность принимается приуготовлять суровое, величественное празднество обновления. Впрочем, мало кому приходит в голову вести подобные заметки. Большинство по школярской привычке заполняет свой Дневник Наблюдений за Природой небрежно, урывками, не вникая в суть происходящего. Нас хватает лишь на то, чтобы констатировать: незнакомая, точнее сказать, чуждая нам реальность исподволь вытесняет привычный уклад, пусть не блистающий роскошью, зато изученный до малейших тонкостей, до анатомических подробностей, до умилительных частностей, а посему сердечно близкий. Незаметно уходит в небытие то, с чем мы давно сроднились, без чего все окружающее кажется нам пресным, тусклым, неуютным; притом мы-то остались прежними, в нас пока ничто не изменилось. Пока! Но срок приходит... Поначалу мы только присматриваемся к новому, сознаем его; потом постепенно привыкаем к нему, соглашаемся с ним, принимаем его; стремимся сообразовываться с ним и сами меняемся, не можем не меняться. Однако ровно в тот момент, когда мы, подстраиваясь под новизну, отваживаемся на перемены, то, что считалось передовым, актуальным, современным, по какому-то непостижимому умом закону вдруг начинает устаревать, деформироваться, распадаться.

Человечество никогда не поспеет за извечным и неуловимым вселенским перерождением, как Ахиллес никогда не догонит черепаху. Никогда! Не дано того роду людскому. Если же высшие силы кому-то и даруют счастье заприметить чудо явления миру *неведомого*, всякое новшество непременно истолкуют превратно, в меру своей испорченности и ограниченности.

Наугад раскройте том хронографа — на любой странице прочтете подтверждение этому приговору. Вот бюргеры времен Реформации слушают проповедь Лютера. Готовы ли они принять щедрую благостыню от Мартина-философа? Способны ли воспринять и оценить все богатство «Тезисов», весь блеск их мысли, всю мощь веры в Бога, переплавившейся в веру в Человека? Стремятся ли почтенные филистеры вслед за вдохновенным богословом к смирению и сокрушению сердца? Смешно спрашивать! Движет ими ненависть к тому, против чего восстал разгневанный августинец, и вот, протестуя вместе с Лютером, стали они протестантами, стали лютеранами, всем своим католическим опытом въехали в ересь, проскочив мимо указанной им стези, ведшей в царство христианской свободы... А молоденький офицер Бонапарт? Мог ли он надеяться, что порывы обновляющей кровавой бури над Францией вознесут его на тулонские высоты? А непобедимый генерал Наполеон? Мог ли ждать, что путеводный свет, который не застили ему ни пыль дорог Европы, ни альпийские метели, ни песчаные бури Египта, окажется не сиянием золотого венка триумфатора, а бликами московского пожара и льда Березины? А заносчивый император всех французов? С вожделением разглядывая в кабинете своего дворца модель Земли, мог ли предположить, что на глобусе означены не только покоренные столицы, но и острова его грядущего позора?.. Или вот: розовощекий юноша-комбайнер вступает в жизнь, а за плечами у него написанное на «отлично» выпускное сочинение «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей юности полет» и орден Трудового Красного Знамени за ударно проведенную страду. Кто бы мог ожидать, что через четыре десятка лет

бывший ставропольский механизатор возьмет в руки штурвал великой страны? Кто мог представить себе, что главный советский коммунист станет покровителем диссидентов и кумиром западного мира? Самому изощренному прорицателю не разглядеть такого будущего в самый прозрачный хрустальный шар... Конечно, нельзя поручиться, что Маша, излагая изумленным слушателям наиболее глубокомысленные свои пассажи, использовала именно эти исторические примеры, но суть ее рассуждений сводилась к тому.

В изменяющуюся реальность мы попадаем с разбегу и вязнем в ней, как телега, провалившаяся с укатанной колеи в трясину. «Вот занесло!» — думаем мы. А это настало то самое «новое», к которому так стремились, к которому так долго ехали, трясясь на ухабах повседневности! Оказывается, «новое» представляет собой довольно унылый пейзаж — однообразную низменность, испещренную бесконечными кочками и черными глубокими лужами, заболоченную равнину, обрамленную по горизонту рахитичными елками. И хорошо, если только так, если за чахлым ельником, подсвеченным тревожным багровым заревом, не крадутся оголодавшие волки — соседи по «новому», его исконные обитатели и, пожалуй, истинные хозяева.

Неопытность по бодрому своему невежеству рассчитывает вломиться в грядущее под треск и сверканье фейерверка эмоций, под «Брызги шампанского», окатывающие хмельной прохладной волной бесшабашного ритма. Опыт, оглядевшись в пресловутом будущем, обнаруживает, что опьянение игристой новизной как-то незаметно выветрилось, а осталась (и, похоже, навсегда) лишь головная боль... В чужом пиру похмелье... Как же это обидно! А еще обиднее, что тот краткий миг, когда ты по необъяснимой милости судьбы оказался сотрапезником избранных на роскошном пиршестве жизни, бездарно упущен, что твой единственный тост, которым ты собирался поразить все застолье, так никем и не услышан: ты только лишь поднялся с места, стараясь придать своей широкой улыбке выражение почтительного дружелюбия, а соседи по столу уже опрокидывают бокалы, и вместо ободряющих глаз ты видишь лишь кругляшки стеклянных донышек, отсвечивающих прозрачным равнодушием.

А ведь мы так старательно готовились к торжественной встрече будущего! Наши сердца напряженно замирали в ожидании начала грандиозных преобразований, подобно солдатам парадного расчета, которых миг тревожного счастья между «Шагом...» и «...марш!!!» превращает из зеленых новобранцев в матерых служак. С восторгом ждали мы сигнала к началу перемен, со сладострастием предвкушали встречу с небывалым! Предвкушали... Однако оказывается, что за предвкушением беспромежно следует послевкусие. А где же сам чаемый вкус?! Мы мечтали упиваться вкусом новизны, наслаждаться экзотическим букетом до самозабвения, но ощутили лишь полынную горечь разочарования. Запертые по чьей-то злокозненной прихоти в незнакомой комнате казенного дома, мы томимся, не в силах осознать всей унизительности своего отрезвления, не в силах подобать нужных слов, чтобы ободрить товарищей по несчастью... Мария, может быть, ты способна развеять гнетущую тоску? Может быть, тебе дарована власть оживляющим словом смягчать коросту, теснящую наши души?

Марии же впрямь почудилось в тот миг, что она обрела чудесную способность: дай ей волю, и она своею молвью растопит льды полюса, успокоит огнедышащий вулкан, заговорит ураган... Дочь крестьянскую так долго изводили пыткой молчания, что, начав говорить, она все не могла остановиться. Подобно сказочной царевне, освобожденной из заточения в каменной башне одиночества, она торопилась выговориться, развеять по ветру снедавшее ее беспокойство; но и уже избавившись в откровенном разговоре от застоявшегося, парализующего уныния, продолжала дозволенные речи, рассказывая теперь не о себе, а о тех неуклюжих и забавных мужчинах, что сидели перед ней с понурыми головушками. В словах Марии, словно в волшебном зеркале, отразились их образы, и со стороны они сами себе показались похожими на

грубо сделанных марионеток. Комната общежития превратилась в вертеп, где разыгрывалось кукольное представление: вот смастеренные из папье-маше волхвы несут к колыбели Младенца дары, кои столь же ничтожны, сколь дешев материал, из которого изготовлены фигурки: засохшие благовония, самоварное золото, дребезжащие битые стекляшки. Однако, приблизившись к яслям, узрев ясное личико лежащего в них, устыдились они убогих, как их собственные жизни, даров, поняли ничтожество свое рядом с чудом рождения, захотели убежать, закрывая лица рукавами.

А вот Мария не только приняла, но и по-женски оценила свершившееся на ее глазах скромное приношение — не ей, конечно, даже не ее будущему ребенку, а волшебству обновления и продолжения жизни. И оценив искренность проводивших скудный обряд жрецов, Маша по-другому взглянула на них, таких милых, несмотря на нескладность,— с явной симпатией, хотя и не без доброй иронии. Пожалуй, она даже жалела их, ибо уже постигла то, во что им лишь предстоит быть посвященными: жизнь опрокинет все расчеты, развеет все надежды и двинется своим путем, ни с кем не советуясь, никого не торопя, никого не поджидая.

Разборчива была невеста, да не держала обиды на искателей ее руки и сердца, пусть даже изначальные намерения их, цель их прихода в девичью светелку вполне могли показаться оскорбительными. Нет, Маруся не сердилась на своих напыщенных кавалеров, поскольку видела, что теперь, прилюдно исповедавшись и выслушав ее ответные откровения, они больше не походят на заигравшихся паяцев. Маша только хотела дать понять Шамсутдинову, Саше, Иммануилу, Рогову и Чернышеву (ни одному из них не отдавая предпочтения и вместе с тем ни одному не отказывая во внимании), что, дерзнувши спасать кого-то, надо бы самим избавиться от неуверенности, нерешительности, терзающих сомнений и страхов.

Впрочем, в словах Марии слышалось не осуждение — сочувствие, ведь в своих случайных визитерах хозяйка смогла разглядеть главное: они стремились чуть более логичным сделать мир вокруг, добавить щепотку здравого смысла в бурлящий котел экзистенциального абсурда. И это все, что знала, что хотела знать о них Маша, и именно этим знанием пришедшие к ней возвышались. Они догадывались, что покинут четыреста первую комнату совсем не такими, какими переступили ее порог. Придя сюда по причинам туманным, морочным, надуманным, они в итоге пришли к лучшему в себе; сейчас не осталось в них ни жадности, ни заносчивости, ни слабости, ни расчетливости... Правда, если бы Мария не оценила их, вряд ли сами они заметили и запомнили в себе хорошее. А ведь оно существовало, это хорошее.

Оно было рядом, вокруг, оно осязалось в воздухе, его флюиды по разнонаправленным кривым распространялись в помещении и, похоже, воспринимались не только людьми. Сказанное Марией по-особому резонировало тут, в скверно обставленной каморке с облезлым абажуром. Чья-то скособоченная тумбочка; на ней — оглушительным тиканьем напоминающий вздохи задыхающегося астматика будильник, столь несоразмерно громоздкий, что вполне мог бы послужить башенными часами; тяжеловесный стол с оббитым лаком на кончиках ножек, там, где часто шаркали тряпкой, моя пол; матово поблескивающие металлом сиротские кровати, заправленные заштопанными покрывалами; захватанный коврик на стене, на котором пораженные всем происходящим три богатыря выкатили из орбит мохнатые глаза,— вся эта рухлядь обретала сугубую значительность, оказывалась не фоном, но сутью монолога о новизне и изменчивости. Какой-нибудь колченогий стул вдруг переставал быть чиненой мебелью, виделся предметом с авангардного полотна, где намеренно нарушены представления о пропорциях, смещен привычный угол зрения. И старомодный репродуктор на стене, и полинявший ситцевый полог, отделявший жилую часть комнаты от подобия прихожей, и похожий на колумбарий обедневшей аристократической фамилии шкаф... Они отныне будут резкими мазками вписаны в общую картину мира каждого из собеседников Марии, композиционно соотнесутся

с историей его жизни, займут место в биографии. А в иконописной перспективе окна, обрамленного крестами распахнутых рам, теплое небо сочилось благоволением к человецам.

Умиротворение, разлившееся в зеленой от насыщенной голубизны выси, милостиво изливалось на землю, заполняло, обволакивало шумливые кварталы, один за другим затихавшие в преддверии ночи. Отходя ко сну, город, как набегавшийся за день ребенок, долго копошился под пуховым одеялом летнего вечера, испускал гудки машин, стук каблуков и шарканье подошв по асфальту, звуки плевков, запахи отработанного топлива и тлеющей листвы.

А за городской окраиной, робко вторгшейся в природу, разметались на жестком ложе усталые поля да настороженные перелески; чуть поодаль ворочалась в полузабытьи большая ленивая река; погружались в дремоту совсем уж неблизкие степи и горы, нескончаемая тайга и непролазные топи, великие озера и стылые пустыни, и вечные льды, и безмерные океаны.

Еще дальше клонила изъеденный оспинами сонный лик желтушная Луна, а там — и скарлатинный Марс, и гипоксимичная Венера, и звезды, такие далекие, что не разглядеть их как следует, не поставить точный диагноз... Говорят, в момент окончательной сборки вся эта насквозь больная галактика, тогда еще добротная, легкая на ходу, как новенькое велосипедное колесо, гипнотизирующее ослепительным блеском никелированных спиц и обода, была посажена кустарем-изобретателем на ось. И поныне расшатавшаяся, тронутая ржавчиной Вселенная «восьмерит» вокруг чего-то надежного, но невидимого. Иногда можно даже расслышать, как посвистывают стершиеся подшипники, как побрякивает приводная цепь нашего мира — когда в большой компании малознакомых людей в разгар шумной болтовни все вдруг одновременно смолкнут, потому что каждый задумается, что бы еще приятного для других показать в себе,— вот тогда и слышно.

Прежде (в отсталой и реакционной Российской империи) наши легковерные предки, не усвоившие научного мировоззрения, в такие минуты говаривали: «Тихий ангел пролетел». В советские времена все стали учеными... Не в том смысле, что все занялись научной работой, но все оказались ужасно образованными, подкованными в любых вопросах бытия, главное же — наученными жизнью. В советские времена завести речь о бестелесных сущностях мог либо диссидент, либо провокатор, потому что каждому было понятно: единичные пролеты посланцев небес, коль иной раз и случаются, то не у нас, а на далеком от всепобеждающего материалистического учения Западе. Жизненная практика, которая, в полном соответствии с доктриной Маркса, стала для нас важнейшим критерием истины, убеждала советского человека, что летать могут лишь физические объекты: «кукурузники» санитарной авиации, космические аппараты, работающие для нужд народного хозяйства, оберегающие покой Родины стратегические бомбардировщики на боевом дежурстве...

Незримых хранителей окончательно упразднили, зато на вахту заступили архангелы в погонах. Поэтому в советские времена, если среди общего веселья или делового разговора внезапно и разом затихали оживленные голоса, стали судить так: «Милиционер родился...» Когда в прокуренной кухне «хрущевки» неожиданно захлебнется искрившаяся искренностью беседа, когда в самый разгар неформальной полемики дипломированных советских интеллигентов почему-то вдруг запнутся азартные спорщики, когда в шумном, пусть и безалкогольном, пусть и талонно-карточном, пиру после удачной остроты либерально-демократического вольнодумца зависнет завистливое молчание,— тогда, чтобы разрядить драматизм возникшей паузы, обязательно кто-нибудь хитро подмигнет: «Мент родился». И после этих слов невольно почувствуешь себя под охраной, и подумаешь: «Хорошо, что пока не под стражей!» И невольно вспомнишь тех, кого уже взяли под стражу...

Так дело и шло: стоило советскому человеку погрузиться в задумчивость, нена-

долго выпав из ритма всеобщей кипучей работы, как одним милиционером становилось больше. Гражданин Страны Советов опять недоумевает: «Почему это у нас столько милиции? Не многовато ли?» А правоохранительные органы уже выписывают служебное удостоверение очередному сотруднику. Какой-то замкнутый круг получался (порочный круг!) А уж в эпоху гласности, ознаменовавшейся массовыми приступами мыслительной деятельности, личный состав милиции не только количественно увеличился, но даже перешел в иное качество, получив в свое распоряжение резиновые дубинки, слезоточивый газ, защитную амуницию, спецавтомобили для разгона бунтующей толпы,— все то, чего ранее мы, законопослушные «совки», и в глаза не видывали, считая атрибутами исключительно эксплуататорских государств капиталистического мира. В общем, в годы перестройки наше бытие значительно усложнилось, предопределив (опять-таки в полном соответствии с марксовой теорией) многократное, болезненное, на грани распада усложнение сознания.

Однако вот именно сейчас здесь, на четвертом этаже рабочего общежития, угнетающая сложность бытия почему-то не ощущалась.

Мария говорила, ни к кому не обращаясь, словно бы сама с собой, словно бы забывшись беспокойным неглубоким сном, но все сказанное ей неожиданно оказалось настолько ясно, близко каждому, будто это были его собственные мысли. Впрочем, когда твои мысли высказывает кто-то другой, их великую простоту, как выяснилось, невозможно вместить! Слова Марии... Не слова даже, ибо слова превратились в ненужную частность, чуть ли не в помеху, а аморфные сгустки смысла, распространяемые мягкими, слегка припухшими складками ее губ, замедленными движениями ресниц, бархатными низкими тонами голоса, витали в комнате, отскакивая от стен, иногда ложась кому-то на сердце, иногда не касаясь ничьего слуха.

Но, не заботясь о том, Мария щедро дарила себя пришедшим к ней. Она знала, что должна это сделать, как распустившийся бутон знает единственное предназначение — дарить порывам теплого весеннего ветра аромат цветения, не заботясь о том, наделен ли кто-либо на Земле талантом, услышав изысканное благоухание, прослезиться от нахлынувшего счастья. Не в силах женщина забыть, к чему призвана природой, не в силах утаить от вселенной переполняющую ее красоту. На память о своем кратком свидании с миром женщина непременно должна оставить ему (даже такому бесталанному, грубому, неказистому) блеск своих глаз, цвет своих волос, запах своей кожи, музыку своего голоса, прихотливый узор своих чувств, волшебство своего продолжения. И сейчас Мария одаривала людей надеждой и утешением, любовью и пониманием так же, как через несколько месяцев дарует человечеству своего первенца.

Речь ее транслировалась репродуктором распахнутого окна — в бездонное небо... Спортсмен-радиолюбитель в городе Благовещенске случайно поймал эту взволнованную волну и безотрывно работал на прием до конца передачи, удивляясь своей вине в горе обиженной людьми и обидевшейся на судьбу женщины. А потом отправил давнему знакомому, которого, впрочем, знал лишь по общению в эфире,— коротковолновику из Веллингтона — странный текст: «Старина! Мы напрасно ловим сигналы SOS: мы не можем спасти ничьих душ, потому что не спасли свои собственные...» Приняв сообщение из России, меланхоличный веллингтонский радиолюбитель хотел было переправить его дальше, но, подумав, рассудил, что дальше, похоже, уже некуда... Почему-то в тот вечер он дольше обычного засиделся в любимом баре, задумчиво клубя трубочный дым над стойкой, разглядывая сквозь витрину крупные зимние звезды, ворча про себя, что, пожалуй, так ничего и не понял в жизни...

А в комнату Марии через открытое окно тянуло хорошим, терпким, дорогим табаком — кто-то курил этажом ниже, переживая за свою, тоже нескладную, долю. Легкий запах тлеющих табачных листьев бередил грустные мысли о том, что вот уже кончается лето... Кончается лето, и, значит, впереди теплохладный сезон разочарова-

ний, предваряющий лютую стужу, которую парным августовским вечером и представить себе невозможно, но которая непременно ударит, и удар ее не все смогут перенести... Кончается день, и пора дать себе отдых... Кончается время, которое для чего-то было отпущено всем им, притаившимся здесь, по сю сторону разверстого оконного проема... Кончается время, и пора перестать надеться на чью-либо помощь... Кончается время: бесполезно и глупо молить о продлении.

И хотя между присутствующими уже давно установилось молчание, казалось, что их разговор продолжается. Эти... как бы помягче сказать... своеобразные люди, собравшиеся в этом необычном месте, молчали — каждый о своем и, все-таки, все об одном и том же, о том единственном, в чем можно быть уверенным до конца и неизменно: в нашем страннейшем из миров у каждого своя странность. Все мы (а в России в особенности!), как говорят, с отклонениями, абсолютно все, так что само понятие нормы, похоже, уже утрачено. Если же доведется по какому-то поводу начать чередить, показывать окружающим свою эксцентричность, то такого накуролесим, такое чудо чудное учудим, до такой свистопляски дойдем, что только другое, еще более экстравагантное, чем у нас, оригинальничание заставит остановиться и смиренно созерцать чужое чудачество.

Так и теперь. Идя на свидание со странной женщиной, не то избранной, не то отверженной, странноватые женихи могли бы ожидать от нее либо заискивающей покорности, либо агрессивной надменности. Но тот тихий, почти отстраненный разговор, который повела Мария, оказался неожиданностью для всех, даже для отца ее. И ведь Маша не отвергла пришедших к ней, не погнушалась ими; однако и не приняла безоговорочно, не признала достойными — это она-то, деревенщина, безмужняя залетчица! Но вот не дала играющим в благородство городским неудачникам возможности возвыситься за счет своего ребенка, от неискреннего самоотречения их отказалась, поскольку настоящее возвышение им только еще предстояло познать, ибо оно скрыто глубоко в человеке и не измеряется ни милостыней, ни доброй услугой, ни благодеянием. Напротив, лишь возвысившись духом, поняв, что есть воистину добро для тебя самого и для ближнего твоего, получаешь право принести себя в жертву.

Ни одного из незваных гостей Мария не пустила в свою жизнь, и всякий понимал: нет у него права упрашивать женщину раскрыться перед ним. Ей идти собственной дорогой, вести за собой дитя... И, возможно, следуя за матерью, чадо ее, которое еще до рождения оказалось в эпицентре стольких страстей, на перекрестке стольких судеб, войдя в возраст, достигнет небывалых высот... Сейчас каждый в комнате искренне и бескорыстно хотел, чтобы Машин первенец вырос бы великим человеком... Или, хотя бы чуть более успешным, чуть более удачливым, чем все они. Сейчас любой согласился бы работать до изнурения, терпеть лишения, расстаться с самым дорогим ради триумфа этого ребенка, триумфа, будто бы кем-то уже обещанного. И если бы мальчишке удалось (ах, если бы ему удалось!) в будущем прославиться и их прославить, как гордились бы они, что помогали становлению выдающегося деятеля современности! Словно настоящие отцы гордились бы!

Впрочем, тягучие секунды негостеприимной тишины, одна за другой падая на темя тяжелыми, палаческими каплями, возвращали от бесплодных мечтаний к безотрадной действительности. Ясно же, до рези в глазах, до ломоты в висках ясно: явит Машин ребенок пример исключительной личности или станет лишь одним из малых мира сего, еще более мизерабельным, чем собравшиеся здесь мужчины,— все равно для них нет места подле него. Он ни единой чертой не будет похож на тех, кто ныне пытается заглянуть в завтрашний день не рожденного пока младенца; ни единым изгибом своей судьбы не повторит маршрут их блужданий, не прислушается к их советам, не воспользуется их помощью... Приговор окончателен, обжалованию не подлежит: рядом с ним, как и рядом с Марией, нет для них места.

Одно было утешение: Мария не погнушалась своими шальными визитерами,

следовательно, понимала их существование как необходимость. И это неожиданно оказалось чрезвычайно важным для них, пожалуй, это оказалось важнее всего. В сердцах, раскалившихся, словно безостановочные плавильные цеха, в грудных клетках, чьи своды покоробились от непрерывной работы вагранок сомнений и того гляди обрушатся, вдруг потянуло освежающим сквознячком. Там, где грохотали вагонетки, загружающие в пылающие печи лом чужих идей и слов, где чревовещательно гудело адское пламя, где заполошно орали сновавшие повсюду микроскопические на фоне домен черные человечки, вдруг зависла пауза, означавшая, что сейчас произойдет нечто важное. И правда: из огненной летки мартена уже изливался белый от жара, дрожащий, как мираж, поток металла. Этой плавке еще предстояло много терзаний: она пройдет многократную лихорадку закалки, ее будут неистово колотить молотом... Но именно она и именно после мытарств превратится в стальной стрежень, в несущую балку каркаса будущих побед.

Вот ведь насколько все измелилось за, может быть, час с небольшим пребывания в общежитии посторонних: направляясь сюда вальяжными гарун-аль-рашидами, теперь они готовятся бежать, будто ватага оконфузившихся оборванных дервишей... И как тут не вспомнить бабу Дусю, горой стоящую на страже воспрещающих предписаний: похоже, не следовало им, посторонним, ломиться в закрытую дверь. Послушай они старуху — самим проще было бы! Однако посторонние никогда не соглашаются признать себя непричастными хотя бы к чему-то, творящемуся на белом свете, никак не могут подавить мучительные приступы любопытства, упорно срывают предупредительные таблички, влезают, куда не положено...

Да вот взять хоть сегодняшний пример! Бесцеремонные посетители сначала вломились в Машину комнату, а потом уже разобрались, что это, скорее, трансформаторная будка, наполненная пугающим гулом чудовищного высокосферного напряжения... И что им делать? Как поступить: спасаться ли бегством, стоять ли неподвижно? Какому богу молиться, чтобы избежать испепеляющего разряда гневной верховной правды?

Час назад, решительными шагами направляясь к общежитию, все эти мужчины неизвестно почему рассчитывали услышать здесь одно-единственное проникновенное женское слово, без которого не прожить. И что же? Оказалось, слова невесомее листьев, готовых в любую минуту с обидным равнодушием покинуть родную ветку ради сомнительной чести истлеть в грязи при тщетной попытке укрыть землю от холодов... Прорываясь всеми правдами и неправдами мимо бабадусиной вахты, самоуверенные прожектеры надеялись обрести в заповедном девичьем царстве верную, преданную помощницу. И что? После разговора с таинственной затворницей их планы облачными плотами уплыли в вечернее небо... Стоя на пороге четыреста первой комнаты, холостяки-неудачники мечтали о заверениях в любви. Ну, и? Едва переступив заветный порог, они вмиг уразумели, что даже из жалости не удостоят их счастьем нежного признания... А вот то, что Мария, мистическим образом приобретшая в их глазах черты идеальной подруги и жены, советчицы и наставницы, то, что она с ходу не выгнала пришельцев, подарила несколько минут тишины на исходе августовского дня — вот это неожиданно наполнило значительностью их существование.

И потому души удостоенных аудиенции кавалеров согревались каким-то новым, неизвестным им прежде чувством. Наверное, в ту пору они и полюбили Марию, полюбили по-настоящему, еще сильнее, чем ее не рожденного сына. Полюбили как свою Прекрасную Даму, как воплощение Вечной Женственности, полюбили навсегда и безнадежно.

Трудно было поверить, что Она пребывает в обветшалом казенном доме, что Ее сердце бьется под стареньким застиранным халатиком, но пришедшие к Ней уверовали. Трудно было постичь, что предстоящая здесь реальная и ничем не выдающаяся женщина суть воплощение мудрости и трепетной доброты, самозабвенной, почти

болезненной любви и неотступной заботы, но стремящиеся к смыслу постигали. Трудно было вместить, что скоро в муках, в крови придется Ей доказывать всему миру свое святое предназначение, но ищущие истины пытались вместить...

Хрипы карикатурно огромного будильника, напоминавшего мультяшную бомбу с часовым механизмом, провожали в небытие мгновения вечности. Упорно глядели в пол, не хотели поднять багровые от стыда лица оконфузившиеся женихи. И все казалось, что сейчас сюда ворвется яростный, неистовствующий Одиссей, законный супруг и настоящий отец, ворвется и мощной рукой восстановит справедливость, обратит в бегство разоблаченных самозванцев, рассеет сомневающихся, изощренным разумом направит течение жизни в единственно верное русло, и все, даже наказанные, обретут счастье... Но не распахнулась дверь, не скрипнула половица под запыленными сандалиями. В общежитских коридорах никогда не раздаваться шагам царя Итаки... Так стоит ли тебе, фабричная Пенелопа, год за годом, век за веком ждать возвращения хитроумного мужа? Нуждаешься ли еще в нем ты, давно привыкшая все решать сама? Да и не ошиблась ли ты в своем благоверном? А вдруг под личиной великого героя скрывается легкомысленный выдумщик, бражник, ходок и задира? Или, может быть, таким он и дорог тебе?..